

Чалмаев В.

Путешествие в страну Андрея Платонова (1899–1951)

Все возможно — и удастся все,
но главное — сеять души в людях.

А.П. Платонов

*Из записных книжек
1941–1950*

Андрей Платонович Платонов писал и жил как будто нарочито тихо, не пробуя никого вокруг себя перекричать, тем более растолкать локтями, пробиваясь на более освещенное место в истории. Чужие удачи он тоже не пытался повторять. *Надо всегда жить свою жизнь* со всеми ее радостями и невзгодами, чувством пути и сознанием отвоёванной, а не дарованной извне свободы... «Я нечаянно стал, хожу один и думаю», — говорил один из его героев в рассказе «Глиняный дом в уездном саду» (1936). А в сказке-были «Неизвестный цветок» (1950) негромкий Платонов, властелин трудного, неприрученного слова, волшебный создатель уникального художественного мира, сказал о секрете его возникновения:

«— А отчего ты на других непохожий?

Цветок опять не знал, что сказать. Но он впервые так близко слышал голос человека, впервые кто-то смотрел на него, и он не хотел обидеть Дашу молчанием.

— Оттого, что мне трудно, — ответил цветок.

— А как тебя зовут? — спросила Даша.

— Меня никто не зовет, — сказал маленький цветок, — я один живу».

Действительно, Андрей Платонов — это «нечаянная» (неожиданная) страна без соседей, мир порой фантастических героев, непрерывно куда-то спешащих, спорящих, иронизирующих, решающих очень величественные задачи. Они говорят на весьма трудном языке, прошедшем через революции и войны. Современный писатель В. Маканин назвал слово Платонова «отяжеленным»: «Окно вспыхнуло светом мгновения»; «Весь уезд нуждался в его умных заботах»; «...туманы, словно сны, умирали под острым зрением солнца»; «...сидели у окна, напевая песню от скуки войны».

Что такое сама жизнь для Платонова? Это то загадочное неуловимо-прекрасное, что, существуя... стремительно убывает!.. Писатель Э. Миндлин, знавший Андрея Платонова, определяя его как «весело-огорченного человека», скажет о вечном драматизме его жизни так:

«...Платонову не приходилось искать трагического — трагическое само находило его. Трагическое постоянно входило в жизнь человека, мечтавшего о повеселении и воодушевлении человечества. Сам он воодушевлялся и не веселел. Он воодушевлялся фактом собственной жизни, полной печали и потрясений».

В другие времена, зная, как велика была в Платонове сила сострадания ко всему, что беззащитно, хрупко, что сиротливо и одиноко в мире, по-детски доверчиво, даже наивно, сказали бы о ранимой душе писателя: это структура души, из которой выходят святые, страдальцы за несовершенный, явно неготовый для счастья людей мир. Сам писатель видел свой путь все же иначе:

«Через череду горя, труда и бедствий — к молодости, к вере и радости...»

«Песня дороже вещей, она человека к человеку приближает. А это трудней и нужней всего...

Труд есть совесть».

(Из записных книжек.)

Детские и юношеские годы — это доверчиво открытая дверь, вернее, скромная деревенская калитка или тесная площадка паровозного машиниста в страну утяжеленного слова Платонова. Он вообще любил спасительные знаки покинутого детства — а может и не покинутого! — в себе, в других людях. Впрочем, это извечная гуманистическая черта русских писателей — воскрешать в себе младенца, очищаться возле него, сберегать от полного ожесточения свою душу, осознавать вину. Прав В. Астафьев, когда сейчас говорит:

«Все мы, русские люди, до старости остаемся в чем-то ребятишками, вечно ждем подарка, сказочки, чего-то необыкновенного, согревающего, прожигающего нашу, окалиной грубости покрытую, а в середине незащищенную душу, которая и в изношенном, истерзанном старом теле часто исхитряется сохраняться в птенцовом пуху».

Андрей Платонов (подлинная фамилия Климентов) родился 20 августа (по старому стилю) 1899 года в Ямской слободе на окраине Воронежа. Отец его — Платон Фирсанович Климентов, слесарь железнодорожных мастерских, мать — Марья Васильевна, дочь часового мастера, домохозяйка, хранительница дома. В семье было одиннадцать детей. Будущий писатель был старшим сыном в этой огромной, «старопролетарской», как он говорил, семье.

Старший сын в таких семьях быстрее лишается детства, раньше понимает, что «голод не тетка», что вокруг нужда «пляшет и скачет да еще и песенки поет», что надо привыкать «нужду на кулак мотать». В рассказе «Возвращение» (1946) из старшего сына Петруши вырос за годы войны маленький расчетливый хозяин, который и отцу-фронтовику напомнит, что «тебе, отец, завтра с утра надо бы в райсовет и военкомат сходить, станешь сразу на учет — скорей карточки на тебя получим», и сестру усадит за уроки («пиши палочки — забыла уж, когда занималась!»). Таких, рано повзрослевших детей Платонов будет изображать с глубочайшей жалостью и любовью. Как тех юных пахарей в рассказе «Ветер-хлебопашец» (1944), «малорослых крестьян», отошальных и немощных на вид, которые приспособили ветер, крылья ветряной мельницы для того, чтобы вспахать поле, волочить плуг.

Опыт вечной няньки, второй матери для младших братьев и сестры — и это почти до пятнадцати лет! — имел для Платонова-писателя и еще один воспитательный смысл. В автобиографическом рассказе «Семен» (1936), поведав о том, как он сажал в тележку и катал очередного брата (иногда и двоих), переспрашивая мать в окно («Мама, пора?»), писатель отметит и многие запавшие в душу великие душевные движения, порывы людей. Тут бедность, но никто не экономит сострадания, не знает, что бывает чья-то чужая боль, что можно отделаться хлесткой фразой: «Это твои проблемы». Мальчик Семен заметил, что отец, вернувшись с работы, «лазал по полу на коленях между спящими детьми, укрывал их чунями, гладил каждого по голове и не мог выразить, что он их любит, что ему жалко их: он как бы просил у них прощения за бедную жизнь».

Откуда, как не из детства, из тех железнодорожных мастерских, из жаркого литейного цеха, куда пошел работать в шестнадцать лет юноша Платонов (за хлеб, ради помощи отцу, семье), взялось редкое его искусство отождествления себя со всеми, кому трудно дышится, кому плачется, в ком горе слышится в час разлуки, беды, кто не может победить нужды, страха? Это драгоценнейший опыт самоидентификации со всеми страждущими, сиротами, а проще говоря, влезания в чужую шкуру, по которой барабанит горе и нужда, — сердцевина всего таланта Платонова.

И можно только восхищаться великой окрыляющей силой, даром всхожести тех семян, что посеяны были в душе Платонова и трудным детством, и эпохой революции. В эти 1917–1922 годы он, молодой рабочий-интеллигент, и сражался на фронтах гражданской войны, и увлекался идеей электрификации, и писал пламенные стихи — они собраны в его книге «Голубая глубина» (1922), — и статьи о «золотом веке, сделанном из электричества».

Только быстрое беспамьятство, леность и нелюбопытство да еще неслыханное богатство дарований, может быть, не позволяло нам оценить один яркий факт творческой биографии Платонова, относящийся к 1920 году, к ситуации голода в Поволжье.

В 60-е годы, когда у нас воцарился своеобразный культ «человека в свитере» Э. Хемингуэя, мужественного гуманиста, создателя повести «Старик и море», мало кто заметил почти текстуальное совпадение поэтического эпиграфа к роману Э. Хемингуэя «По ком звонит колокол» и строк из статьи Платонова 1920 года «Равенство в страдании».

«Нет человека, который был бы как остров, сам по себе; каждый человек есть часть Материка, часть Суши и если волной снесет в море береговой Утес, меньше станет Европа.... смерть каждого человека ущемляет и меня; ибо я един со всем человечеством; а потому не спрашивай никогда, по ком звонит колокол: он звонит по тебе».

Это писал английский поэт XVII века Джон Донн, епископ в соборе св. Павла в Лондоне. А вот что писал Платонов в Воронеже 1920 года:

«Человечество — одно дыхание, одно живое теплое существо. Больно одному — больно всем. Умирает один — мертвеют все. Долой человечество-пыль, да здравствует человечество-организм. Будем человечеством, а не человеками в действительности».

Он взывал к равенству в страдании, упрекая людей в «неспособности к долгому пребыванию на высотах страдания и радости», в экономии сострадания. И что глубже, человечнее — тяжеловесный, картинный проповеднический метафоризм Дж. Донна, с его утесами и волнами моря, или лирическая «нечаянная» импровизация двадцатилетнего поэта в рабочей спецовке? И такие внезапные гениальные восхождения, взлеты, мысли и чувства будучи неизменны на всем пути Платонова!

Первые шаги в литературе молодой Платонов сделал в родном Воронеже на страницах газет и журналов с характерными для послереволюционной эпохи названиями: «Железный путь», «Воронежская коммуна», «Воронежская беднота», «Красная деревня». Требуется в известной мере работа воображения, чтобы вопреки многому, что говорится сейчас об Октябре 1917 года («черная дыра в истории», сплошные «окаянные дни» и т. п.), представить, что огромному большинству людей, вовсе не люмпенов, не агрессивному «дну», Октябрь как раз дал биографию, открыл простор для восхождения, творчества, что революция — это «праздник трудящихся и угнетенных» (*Ленин*). Не один приказ породил в то время сотни журналов и газет, в которых заговорила, а порой закричала о своих надеждах, мечтах низовая Россия, молчаливое большинство народа. «У станка», «В буре и пламени», «Красное утро», «Молот», «Кузница», «Зори», «Набат» — таких изданий в то время было много. «Это будет бушующее пламя познания», — скажет в это время Платонов в статье «Слышные шаги» (1921). Да он и сам, как человек, пробудившийся от вынужденного молчания, заговорил необычайно громко и пафосно.

Глобальный, космический характер Октября 1917 года породил в нем, пламенном поэте, публицисте, поборнике электрификации и мелиорации — он и работал в 20-е годы губернским мелиоратором в Воронеже и Тамбове, — множество увлечений, интересов, волю к постановке «вечных» вопросов. Все они будут вскоре — уже в конце 20-х — начале 30-х годов поставлены и в его сложнейших утопических произведениях: романе «Чевенгур» (1929), повестях «Котлован» (1930), «Ювенильное море» (1934), в библейской повести «Джан» (1934). «Если душа родилась крылатой» (*М. Цветаева*) — а она родилась таковой в Платонове именно в атмосфере Октября 1917 года, — то ее полет безграничен, высок, безбоязнен. Новый Икар — вспомните античного героя — не боялся взлетать к жаркому Солнцу: он сам был человеком с солнцем в крови.

О чем писал молодой Платонов на страницах воронежских газет, говорил в клубе литераторов «Железное перо»?

Он был фигурой увлеченной и... увлекающей!

Требуется некоторая работа воображения, чтобы представить его аудиторию — рабочих из разоренных войной заводов, солдат, не очень искушенных в политике, студентов, живущих, как и все, на голодном пайке, — они собирались в клубе «Железное перо», во «Дворцах труда», иногда в редакциях, — и самого Платонова, читающего свои стихи:

Разум наш, как безумие, страшен,
Регулятор мы ставим на полный ход,
Этот мир только нами украшен,
Выше его — наш гремящий полет.

Вселенной

Кладовая восторгов в такой аудитории лежала близко, все, что говорил Платонов, выражало внутреннее нетерпение его же слушателей. Он вполне соответствовал духу короткого — до начала нэпа! — периода военного коммунизма, когда бескомпромиссный дух бунтаря Прометея явно торжествовал над сомнениями Гамлетов всех времен. Никаких оглядок на ограниченность сил истощенной страны! Ни малейшего чувства слабости, комплекса «маленького человека» перед огромным «Делом»! Все эти нетерпеливые импровизации (их около двухсот, они собраны в книге «Чутье правды». М., 1990) являются предысторией и «Чевенгура» и «Котлована», поражают какой-то светлой, но не наивной, вовсе не умиленной верой в народ, в пролетария и мужика, вооруженного машиной и точной мыслью. Очевиден и общечеловеческий характер этой гуманистической мечты.

«Голубая глубина» Платонова — это не те стихи, которые напоминают недолговечные «молочные зубы» таланта. Она серьезна, это книга о великой ответственности человека за Землю, за ее будущее, вытекающее из грандиозных возможностей человека. Юноша Платонов задумался: ведь человек может и пересоздать землю, как Бог, но может и загубить ее, если окажется недостаточно разумным. При чтении «Голубой глубины», как и научно-фантастических повестей Платонова 20-х годов («Лунная бомба», «Эфирный тракт» и др.), ощущаешь, что писал эти грандиозные проекты будущего, программы человек, знавший победы физики и математики начала XX века. Земля предстает перед ним, его гениями науки, инженерами, астронавтами как клокочущий, управляемый, но не прирученный до конца реактор: человек включил его, собрал «топливо» в такой концентрации, в какой оно не встречается в природе. И природа уже не справится сама с этими «демонами» без энергии человека:

Земля сама — воздушный шар
На солнечной веревке.
Внутри клокочет чад и жар
В гранитной упаковке.
Летит — по солнцу чертит тень...

Небесная авиация

На земле, на птице электрической
Солнце мы задумали догнать и погасить.
Манит нас неведомый океан космический,
Мы из звезд таинственных будем мысли лить.

К звездным товарищам

Любопытно отношение Платонова к Христу и христианству. Он пытался отвоевать и его для совсем иных, не смиренных целей:

«Не ваш он, храмы и жрецы, а наш... мы делаем его дело и он жив в нас... Христос всю жизнь стоял на последней ступеньке перед совершенной невозможной жизнью. Крест толкнул его через эту ступень», —

писал он в статьях «Христос и мы» и «О нашей религии», воссоздавая общепонятный символ активного бунта, восстания против окаменевшего фарисейского миропорядка.

Зрелость Платонова — сборники повестей и рассказов «Епифанские шлюзы» (1927), «Сокровенный человек» (1928), «Происхождение мастера» (1929), вышедшие в Москве, замеченные Горьким, — прямое, но более углубленное продолжение и развитие романтических исканий юности. Но он как бы ступил на землю, отставил плен мечты, космические видения своих инженеров из повестей «Лунная бомба», «Эфирный тракт», смотревших на Землю как на небесный корабль, а на человечество — как на его команду.

Вероятно, сейчас в конце XX века, множество так называемых «маленьких людей» бывает подавлено готовыми рекламными образцами успеха, заданными нормами и штампами поведения, чаще всего рецептами насилия (или обмана) как самого лучшего, «прямого» шага к успеху. Взять в руки бомбу, нож, револьвер и сразу решить все свои «проблемы»! На этом фоне возрастает роль таких повестей Платонова как «Ямская слобода» (1927) и «Сокровенный человек» (1928).

Что происходит с сиротой Филатом в «Ямской слободе», с вечным поденщиком, исполнителем проходных, случайных работ, вроде очистки помойных ям и отхожих мест? Да и эту «работу» в слободе надо еще перехватывать у владельца лошади и бочки золотаря Понтия. Когда эта борьба оканчивается в пользу Филата, мещане, торгаши в слободе, вечно осмеивающие этого сироту («Наш Филатка — всей слободе заплатка»), говорят богачу Понтию: «Ты насчет ямы, Понтий? Тепереча не нужно: Филат намедни горстями по лопухам все расплескал! Хо-хо, Филат жуток на расправу!»

Казалось бы, под рукой Платонова — готовый конфликт богатства и бедности, схема классово-борьбы. И вот-вот начнется желанная гражданская война в масштабе слободы, начнется кровавый праздник мести угнетенного, униженного Филата! Однако писатель уже обладал иным зрением, видел, что сделать из Филата борца со старым миром, не так-то просто.

Ведь слобода с ее замедленной жизнью, образцами успеха, навыками вяло текущего бытия уже навязала и Филату свою «философию надежды», свою «мечту» о «хлебном деле», о скачке к счастью. Это будущее должно только повторять настоящее. Филату подсказывается «мечта»: сто рублей и... тоже стать владельцем лошади, бочки для нечистот и телеги (дрог), чтобы догнать ассенизатора, богача Понтия!

Платонов нашел в этой застывшей, остановившейся жизни свой источник движения, нашел свой сюжет судьбы Филата. В годы войны, революции, всеобщего ожесточения Филат познакомился, сдружился с другим сиротой, скитальцем, вольным человеком Игнатом Княгиным, по кличке Сват. И всего-то ведь немного внес этот веселый, озорной человек, недолго поживший в хате у свалки. Но он был первым, кто так необычно жалел его, так нежно и душевно приглашал к себе в дом («Заходи, Филат, чего же ты на ветру стоишь! Я всегда тебе рад, кроткий человек!»). Повесть заканчивается действительным восхождением униженного, обезличенного героя: он уходит из слободы, из стихии разобщения, одиночества, убогих мечтаний о бочке к новым людям, к революции как братству, «дружеству» всех сирот.

Повесть «Сокровенный человек» (1928) еще до ее публикации стала известна многим. Редактор журнала «Красная новь» Воронский писал Горькому:

«Мне нравится Андрей Платонов, он честен в письме, хотя и неуклюж. У меня есть его повесть о рабочем Пухове — эдакий русский Уленшпигель, — занятно».

Не правда ли, какой высокий ряд — Тиль Уленшпигель Шарля Костера? Возможно и сравнение с бравым смешным солдатом Швейком Гашека, наделенным своеобразной «философией камыша» (и гнется, и качается, ходит волнами под ударами ветра, но цепко держится за землю корнями)...

Фома Пухов — коренной платоновский тип, скиталец, насмешливый странник на дорогах революции, гражданской войны. В нем живет сразу все: и тревога за революцию, и гордость за ее творцов, тех солдат в Новороссийске, которые «еще не знали ценности жизни... были неизвестны самим себе». Поэтому они жили «полной общей жизнью с природой и историей — и история бежала в те годы, как паровоз, таща за собой на подъем всемирный груз нищеты...»

Обе стихии — гордость за революцию и тревоги за ее оказывание, парадность, бюрократизацию — очень своеобразно слились, смешались в этой повести. Фома Пухов (Фома-неверующий, апостол возле Христа) — это человек с открытым сердцем (то есть «сокровенным началом»), человек наблюдательный, замечающий все случаи самодовольства, честолюбия. Он потому и «сокровенный» (то есть глубоко душевный, духовный человек), что не терпит пустой «откровенности», то есть демагогической, спекулятивной болтовни, когда люди не мыслят, а просто заучивают «выгодные» сейчас слова, речезаменители лозунгов, плакатов, ищут нормы жизни как успешной карьеры... чиновника. Этот персонаж — страдающая, многое переоценивающая душа Платонова. Надежды сменяются сомнениями, восхищение героями революции перебивается тревогой за их перерождение: все отражается в сюжете, системе событий, происшествий, определяет их то героический, то сатирический характер.

Н. Корниенко, биограф А. Платонова справедливо написала:

«Фома Пухов — это и не героическая личность, и не балаганный дед. Это характер, в котором Платонов стягивает в новое единство высокую трагическую культуру и смеховую традицию национальной культуры».

Мало кто заметил (и замечает ныне), что и сатирическая стихия у Платонова, его замечательная ироничность (а он в 1927 году создал и повесть «Город Градов», восходящую во многом к традициям Салтыкова-Щедрина, к его городу Глупову в «Истории одного города») очень ярко выразилась именно в «Сокровенном человеке». В повести возникло целое исследование — без гротеска, без эксцентрики, без пессимизма и независимо от повести Булгакова «Собачье сердце» — темы Шарикова и «шариковщины». Шариков Платонова — это сотоварищ Пухова, вчерашний матрос, «выдвинутый на должность», не желающий после революции идти к станку, брать молоток, латать корабли...

«— Чудак ты, — говорит он Пухову, — я ж всеобщий руководитель Каспийского моря!»

Самого Пухова он упрекает: если ты рабочий, «свой», то «почему же ты не в авангарде революции», «почему ты ворчун и беспартиец, а не герой эпохи?»

Платонов не остановился на веселом забавном поведении своего Шарикова. Он видел и этапы его карьерного «восхождения». Вскоре его Шариков, как и многие, «перегрелся от возбуждения», получил, как представитель авангарда, властишку, стал «ведать нефтью», ездить в автомобиле. И вот уже Пухов проницательно замечает — отдадим должное сатирической остроте глаза Платонова! — что тот же безграмотный Шариков, выписывая людям, торчащим перед его дверью, накладные на кусок мануфактуры, ордер на сапоги, старался «так знаменито и фигурно расписаться, чтобы потом читатель его фамилии сказал: товарищ Шариков — это интеллигентный человек». Сколько иронии, уходящей и в наше время, в этом словосочетании: «читатель его фамилии»!

«Конфликтное» время в жизни Андрея Платонова (1929-1931), начавшееся после появления рассказа «Усомнившийся Макар» (1929), повести «Впрок» (1931), ставшее почти катастрофическим после очевидной невозможности публикации романа-антиутопии «Чевенгур» (1929), повести «Котлован» (1930), многих пьес 30-х годов, требует особенно внимательного, не спекулятивного подхода.

Сейчас совершенно очевидно, что и «Чевенгур» (его название образовано из слов «чева» — лапоть и «гур» — гурчать, гул, то есть «гул лаптя», голос из мужицкой утопической страны) и «Котлован» не были пародией на социалистическое строительство, на индустриализацию и коллективизацию. И тем более — что подспудно звучало в спекулятивных интерпретациях этих произведений в 80-е годы — не были предвестием перестройки, возврата к капитализму, к пресловутой купле-продаже земли, России, идее социализма.

Сейчас совершенно очевидно, что Платонов имел свой проект созидания будущего, достаточно противоречивый, сложный, сочетавший в себе и «большевизм» и традиционное правдоискательство, патриархальный идеализм. Его мастер Захар Павлович в «Чевенгуре», узнав о революции, излагает свою программу созидания социализма так: «Имущество (то есть собственность, культ богатства) надо унижить... А людей оставить без призора (то есть без бюрократической опеки) — к лучшему обойдется, ей богу, правда!»

Что из этого вышло в «Чевенгуре»? К чести Платонова следует сказать, что то общество, братство сирот всего мира, людей патриархального, а порой сектантского сознания, где упразднен труд, все уравнивается в нищете, где над буржуями осуществлен двойной суд — это и горькое расставание писателя с романтическими упованиями юности, и суровое предупреждение: смотрите, что могут натворить слепые, невежественные энтузиасты мужицкого рая, борцы за «конец истории», строители утопической Вавилонской башни! Хотя писатель и любит своего Дон Кихота революции Степана Копенкина с его мифической лошадью Пролетарская Сила, и своего Гамлета Дванова («Два-Ивана»), но все их пути и скитания ведут в тупик.

Точно также и повесть «Котлован» с очередными платоновскими Гамлетами — Вощевым (его фамилия образована от слов «воск», «вощенный», «попал, как «кур в ошип») и Прушевским («прах», «порох», «пороша») — это попытка объяснить свой проект, поставить желаемый, идеальный мир перед миром реальной пятилетки, миром индустриализации и коллективизации. Из самого факта, что в «Котловане» умерла девочка Настя (ей не хватило обычного, не «классового», а человеческого тепла), нельзя делать вывод, что «Котлован» противостоит всей литературе об индустриализации, противостоит предвоенной эпохе как царству «безвыходного неба», «развитого, гулагизированного сталинизма» и т. п.

Платонов принимал и то «отечество, «которое есть», но еще больше он любил и славил то, желанное отечество, «которое будет» по его проекту, которое учтет:

1) моления его усомнившегося Макара о душе: «Нам сила не дорога... *нам душа дорога... Дашь душу, раз ты изобретатель!*»

2) неприязнь к «писчей стерве», «бумажным сусликам» бюрократизма, к псевдовождам, вроде Активиста в «Котловане», который согласно смятенным, мучительным тревогам того же Вощева «не меня, а весь класс испил...»

В условиях 1929–1930 годов, когда страна вступила в последнее предвоенное десятилетие, нам «и сила была дорога»: весь мир скоро осознает, что на пути фашизма СССР был единственной могучей преградой. Между прочим, благодаря *котлованам* Магнитки, Уралмаша, Кузбасса. Да и сам Платонов, создавший в 1933–1939 годы антифашистские рассказы «Мусорный ветер» и «По небу полуночи», это прекрасно понимал.

Впрочем, голос Платонова был услышан. И он, как художник, не остановившийся в развитии, вышел из конфликтной, катастрофичной полосы начала 30-х годов другим, еще более зрелым мастером. Он открыл для себя Пушкина, он создал самый удивительный уголок страны Платонова, свой «прекрасный и яростный мир»...

Этот мир начал возникать уже после первой поездки Платонова в Среднюю Азию, в Туркмению в рассказе «Такыр» (1933) и в библейской повести «Джан» (1934). В турк-

менской пустыне, где так драматична борьба каждой былинки, деревца, родничка с жестким песком, суховеями, жарой, писатель рассмотрел великую способность жизни к бесконечному развитию, способность, как он говорил, «срабатывать» горе, беду (то есть трансформировать даже удары судьбы в нечто спасительное). Коммунист Чагатаев в повести «Джан» не только выводит условный народ джан («джан» — душа, взыскующая счастья) из впадины в пустыне, но он бесконечно многое постигает, учится упорству и терпению у этого народа-ребенка.

В 30-е годы появилась и серия знаменитых рассказов писателя о машинистах, их женах, о великом счастье быть частью народа: «Старый механик», «В прекрасном и яростном мире», «Бессмертие», классическая новелла «Фро». Как весть из чудесного мира, не знавшего унижения труда, распыления рабочих коллективов, доносится сейчас до нас диалог в семье старого машиниста, спешащего в депо, чтобы «долечить» паровоз, помочь другой бригаде:

«— Куда тебя домовой несет? – спросила Анна Гавриловна. – Метель утихла... чего тебе там за всех стараться? Там без тебя есть народ!

— Народ там есть, Анна Григорьевна, а меня там нет, – с терпением сказал Петр Савельич. – А без меня народ неполный!»

Вероятно, эта великая идея народосбережения, а не расточения, распыления, деградации, помогла Платонову создать и свою пролетарскую Мадонну Фро (Ефросинью) из станционного поселка («Фро»), показать семейный очаг капитана Иванова как одну из высших ценностей бытия, как украшение земли («Возвращение»), создать еще перед войной чудесный рассказ о детях Антошке и Наташе, застигнутых на пути от бабушки грозой в ржаном поле («Июльская гроза»).

Перечитайте этот небольшой рассказ... Рисуя грозу, когда видно «молнию, вышедшую из тьмы туч и ужалившую землю, (затем «молния подобралась обратно в высоту неба, и оттуда она сразу убила одинокое дерево»), Платонов как будто хочет защитить от гроз все детство на земле. Он вновь переживает и свой опыт няньки, склоняется над этими испуганными детьми, как некий случайный, бог весть откуда взявшийся старичок-странник, журиющий затем родителей: «Ребятишки — дело непокупное и для сердца они больны как смерть»...

Особый вопрос, связанный с так называемым «отяжеленным словом» (*В. Маканин*) Платонова, с «царской водкой» стиля писателя, которая «выжжет дотла робкие возможности писателя-новичка» (*Ю. Нагибин*), неизбежно возникает при чтении его прозы и драматургии 20–30-х годов, сложнейшего романа «Счастливая Москва» (1936), пьесы «14 красных избушек» (1937–1938), ранее созданных «Чевенгура» (1929) и «Котлована» (1930). Он так причудливо, своевольно, куда более сложно, чем Зощенко, пародирует канцелярско-официозный язык, «канцелярит», бюрократизмы, создавая такие речевые явления, как: «ты классовый излишек», «мы — прущая масса вперед», «сочувствовать надо не преходящим гражданам, но их делу, затвердевшему в образе государства» («Государственный житель»), «над нами солнце горит... раньше эксплуатация его своей тенью загораживала, а у нас ее нет, и солнце трудится» («Чевенгур») и т. п.? Все дело в том, что эти речения не были для героев Платонова, наивных правдоискателей, чем-то вроде «словесных трупов», «речезаменителей»... И они звучали не комично, если учесть, что и сами персонажи, вроде Степана Копенкина, богатыря на условно-мифической лошади Пролетарская Сила с портретом Розы Люксембург в шапке, и простой электрик из «малобедной» деревни Верчовка Степан Жаренов жили великим вдохновением подвижников, мечтателей. «У нас машина уж гремит — свет электричества от ней горит... Моя слеза горит в мозгу и думает про дело мировое!» – так писал этот Жаренов в «Родине электричества».

Этот пласт лексики (и соответствующей грамматики) жил у Платонова рядом с нежнейшей, светлой лирической стихией, редкой мечтательностью. Такой необычный синтез сатиры и лирики, усиливший циркуляцию в словесном океане, смешение высокого и низкого, был возможен только с платоновскими персонажами, реальными и условными одновременно. Вспомните только Назара Чагатаева из повести «Джан», платоновского Моисея (и Христа), выводящего народ «джан» из плена пустыни. В час отчаяния, беды после того, как он отбил от орлов, клевавших его тело (тут и Прометея вспомнишь!), он переживает состояние, когда любой язык беден:

«Закричал, как в детстве, когда был выведен матерью из Сары-Камыша, и стал искать кого-то в этом незнакомом месте, кто его услышит и явится к нему — как будто за каждым человеком ходит его неустанный помощник (ангел?)... Вдали, в тишине, словно за мертвым занавесом, в близком, но другом мире, что-то постоянно гукало. Звук не имел значения и определенности... Шло большое, звездное время... И всю ночь слышал неясный гул, разное волнение вокруг, тревожное движение природы, верящей в свое действие и назначение».

Житейское историческое время, сама история у Платонова вписаны в рамки особого, космического времени. Земля — любимое дитя космоса. А потому и любой пласт языка — это лишь часть целого для Платонова. Он не «портил» нарочито язык, используя прием «отяжеления», говоря, например, «окно вспыхнуло светом мгновения» или «Никита сидел и ел тело курицы», «туда люди приходили жить прямо из природы» и т. п. — а так сложно, многомерно видел вечно движущийся, спешащий мир.

Андрей Платонов скончался в январе 1951 года от туберкулеза, полученного им, корреспондентом «Красной звезды», еще на фронте. Он так и не дождался признания, выхода своих задержанных рукописей. Даже рассказ «Возвращение» был обруган критикой. Болезнь эта обострилась после тяжелой утраты — смерти в 1943 году сына, арестованного по ложным обвинениям и освобожденного с помощью Шолохова. Писатель, говоривший еще на фронте: «Меня убьет только прямое попадание по башке», не предполагал, что и от множества мелких бед можно тоже ослабеть: жизнь способна заколоть... и булавками.

Сейчас стало очевидно: всю жизнь этого человека, жившего поистине «на правах пожара», мечтавшего одухотворить мир, словно сопровождал незримый оркестр, развивавший бесконечные вариации его тревог, сомнений, надежд... Лишь часть этих мелодий, звучавших в душе, Платонов успел претворить в образы, в художественную ткань редкой сложности, духовной насыщенности, «отяжеления». Но в искусстве важно не количество, а мера истраченного на каждую строку «вещества существования», душевного огня. К Платонову вполне относятся слова любимой им Анны Ахматовой:

О, есть неповторимые слова!
Кто их сказал, истратил слишком много.